

ПЕРО



ЦИКЛ В ПЯТИ КНИГАХ

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

ПЕРЕЛОМ ПЕРА



Мирсардор Тулаганов

Мирсардор Тулаганов

Перо. Книга 4. Перелом пера

«Автор»

2026

Тулаганов М. А.

Перо. Книга 4. Перелом пера / М. А. Тулаганов — «Автор», 2026

Человек, у которого есть Перо, уходит в чужих лохмотьях туда, где его власть режет по живому. Вельмар держится на бумаге: кого нет в Своде, того нет вовсе. Безбумажные рождаются, работают и тонут, не оставляя строки, – и отвечать за них некому. Тит, поднявшийся со дна к самому верху, бросает холодный трон и уходит вниз, чтобы понять, отчего власть не насыщает. Прошатница Мара Верл третью неделю выправляет девять слов, способных изменить Свод. Кузнец Дарн Ворн ведёт ватагу брать перо силой. А старый уставщик Орм Кес, сорок лет носивший на груди Большую Печать, впервые не может довести руку до росчерка. Мороз держит реку дольше срока, но вода уже идёт. Все четверо сойдутся у одних ворот – и за одну-единственную строку кто-то заплатит всем, что у него есть. Четвёртая книга цикла «Перо».

© Тулаганов М. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Чужие лохмотья	5
Глава вторая. Ниса	9
Глава третья. Шныр на крыльце	13
Глава четвёртая. Прошение за прошением	14
Глава пятая. Лист в коробе	20
Глава шестая. Доимка перед ледоставом	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Мирсардор Тулаганов

Перо. Книга 4. Перелом пера

Глава первая. Чужие лохмотья

Глаза у мальчишки были как у него самого когда-то. Снизу вверх.

Третий день лёд дальнего рукава Ирмы держал Тита. Серый от торфа, с пузырями воздуха и прошлогодней осокой, он пел под подошвой тонко, на одной ноте. Та, что подламывается, шла ниже. Перед каждым шагом Титу чудилось, что он её слышит.

Он ушёл затемно. В палате, где спал не раздеваясь, надел забытое платье из мышиного сукна. У дверей дремал молодой стражник, приставленный к покою Имени; дубинку не выпустил даже во сне. Разбудишь — придётся отвечать или бить, а отвечать Титу было нечего. Он бережно переступил вытянутую ногу и прошёл между нагоревшими свечами к сеням.

На крыльце стоял Шныр.

Будто ждал всю ночь. Серый, тихий, почти без лица, Шныр держал вытертую до кожи заячью шапку. Подал обеими руками, ничего не спросив. Значит, знал об уходе прежде Тита.

— Семь вёрст по льду, — сказал Шныр. И, помолчав, ровно добавил: — К ночи метель. Тит надел шапку. Кивнул и сошёл с крыльца на снег.

Метели не было. Небо стояло чистое, в холодных звёздах; поутру безветренное солнце оголило лёд до другого берега. Шныр не ошибался в погоде — значит, соврал нарочно. Положил между ними выдуманную метель, как руку на плечо: чтобы уходящий мог торопиться и не оглядываться. Тит нащупал плохой заячий мех, вспомнил подавшие его руки и пошёл дальше.

Первую ночь он провёл в курной избе у переправы, где за полушку пускали молчаливых. Лежали вповалку, дышали потом, дёгтем, перегаром и мокрой овчиной. Тит устроился у двери, спиной к стене, лицом к печи, и не сомкнул глаз. К утру печь дотлела, изо рта пошёл пар. Он переступил спящих и вышел.

В ночлежке Тит выменял у сонного мужика с прокушенным ухом драные лохмотья на доху, сапоги и добрую лисью шапку. Мужик щупал и нюхал доху, искал подвох, спросил, не краденая ли. Потом натянул её и сразу заговорил сытее. Жена дала Титу краюху и мёрзлое сало. В чужом тряпье он стал никем — как давно хотел. За спиной остались Аргван, Шныр и чёрный трон, не отдававший тепла. Только плохая заячья шапка напоминала о руке на крыльце.

Печать, сжатое горло Огрызя, имя, произносимое шёпотом, — ничто не насытило пустоту. Четыре года у пера, и всё то же дно под рёбрами. Тит шёл узнать, отчего не прибавляется, а себе говорил: проветриться.

На второй день у деревенского погоста хоронили кого-то маленького: короб из тёсаных досок две бабы несли легко. Поп шептал, водя рукой, и гладкая шея уходила в ворот без кадыка. Тит знал: у власти горла нет. Выходило, и этот мелкий поп — власть. На льду нота сменилась; Тит переждал, пока вернётся та, что держит.

Хеммар открылся дымом: семь прямых столбов над безветренным берегом. Из них проступили чёрные вышки варниц на сваях. Горький соляной запах ударил Тита по нёбу, словно он лизнул железо на морозе. Подземный рассол гнали по обмёрзшим жёлобам в широкие чугунные црены; под ними день и ночь палили торфом, и пар стоял стеной.

Берег стал наростом соли: седая корка покрывала жёлоба, сваи, тропы и прислонённые лопаты; из-под неё выступала чёрная жижа. Тит прочёл устройство сразу: труба и колесо подымали рассол в ларь, оттуда жёлоба вели к цренам, печи гудели, амбары принимали готовое. Рассол — соль — амбар — обоз. У каждого колена стоял согнутый человек, которого считали только по убыли.

В пару люди проступали спиной, плечом, рукой с черпаком и снова тонули. Загнанную спину Тит узнавал раньше лица: она однажды согнулась и больше не разгибается. Свою он распрямлял одной волей и к вечеру уставал не от ходьбы.

Двое отработков мелко несли в амбар соляной ком: остановятся — второй раз не подымут. Свалив ношу, они на миг распрямились по позвонку, придерживая поясницу, и снова согнулись за следующим. Это был их сегодняшний и завтрашний день. Тит отвернулся к ближайшему црену.

У крайнего црена варили дешёвую бурую соль для скота и требухи. Горький пар оседал на всё грязной влагой. Тит остановился в трёх шагах.

Трое надсмотрщиков от скуки помыкали одним отработком. Тонкий, остановленный голодом между мальчиком и мужчиной, он волок слишком большой черпак. Просоленные лохмотья хрустели при каждом движении. Соль в короб шла медленнее, чем хотелось троим.

— Недобор, — говорил старший из троих. Был он кривой на один глаз: веко с того глаза запало и не подымалось, и потому половина лица у него казалась спящей. — Опять за тобой недобор. Третью меру не догнал.

Недобор.

Слово вошло старой иглой под кожу. Тит был ещё меньше, стоял у такого же короба, а сытый голос сыпал ему за ворот отруби с трухой: недобор спишут, вычесть с тебя нечего, кроме дней. Счёт этих дней он выучил шеей и спиной. Над голосом не было никого, кто пришёл бы и заслонил.

Он не показал виду. Лицо его осталось серым и пустым, каким он держал его всегда.

— Мера, — сказал кривой и поднял с короба деревянную лопаточку, какой ровняют верх. — Мера вот докуда. А у тебя докуда? У тебя вот докуда. — Он провёл лопаточкой по краю, ссыпая лишнее, которого не было. — Недосыпал. С тебя спишут.

Отработок смотрел в соль и волок черпак тише прежнего. Кривому стало веселей: значит, взял.

Кривой сапогом толкнул его под колено. Отработок качнулся, но черпак удержал — казённое берегли пуще себя. Уронишь — спишут; у того, у кого ничего нет, вычитают дни. Этот счёт тело вело без головы.

Двое других для порядка засмеялись. Молодой, гладкий и сытый, зачерпнул горячей бурой соли и сыпанул отработку за ворот, на голую потную шею.

Отработок не закричал, только повёл плечами, как лошадь под слепнём, и продолжил сгребать. Тит узнал это кожей спины: внизу молчат, потому что на крик сыплют ещё.

— А ну ещё. — Сытый сыпанул снова и толкнул горстью мокрой соли между лопаток. Черпак клюнул в короб, просыпалась щепоть. Трое стихли и глянули на неё, как на находку. Кривой заговорил деловито:

— Просыпал казённое. Видали? Все видали. Просыпал. — И отработку, нагибаясь к нему: — Это тебе ещё спишут отдельно. Это уже не недобор. Это порча казённого.

Вот тут Тит и подошёл.

Тит подходил не спеша, перенося вес с ноги на ногу. Трое смерили драные лохмотья, серое лицо, полусогнутые кисти и сочли за пришлого отработка.

— Чего встал, — сказал кривой. Не вопросом. — Иди, откуда пришёл. Тут не кормят.

Тит смотрел на белую от рассола руку с короткими сытыми пальцами. Вступаться он не умел — умел наказывать. Сам отработок был чужим; но строй «трое над одним» Тит знал снизу. У бумаги, печати и Пера горла нет. У этих троих были. Счёт можно свести руками.

— Кому говорю. — Кривой шагнул и привычно поднял руку: драного можно толкать.

Тит взял кривого за ворот раньше, чем тот договорил.

Дальше вышло коротко и буднично. Тит развернул кривого за ворот и ударил лицом о горячий край црена. Тот осел, держась за ожог; тёмная капля упала на соль.

Сытый кинулся следом. Тит встретил под дых, без размаха. Тот сложился и сел в горячую соляную кашу. Тонкий долгий вой уже не походил на голос того, кто сыпал за ворот.

Третий не кинулся. Третий попятился. Поднял руки ладонями вперёд и стал говорить — то, что говорят все они, поставленные над загнанным, когда над ними самими вдруг заносится рука:

— Я что... я ничего... мне велено... не я ж... с меня спрашивают...

В «с меня спрашивают» Тит услышал собственный давний скулёр. Поэтому третьего ударил почти милостиво, тылом руки. Тот упал, закрыл голову и сквозь пальцы ждал, добьют ли.

Тит стоял над загнанным так же, как когда-то стояли над ним: ноги широко, плечи опущены, удар в полусогнутой кисти. Чувствовал лишь чёрное удовлетворение. Трое, бывшие над одним, теперь лежали под одним. Печать не дала ему ощущения силы; согнуть согнувшего — дало. Тит отпустил третьего взглядом и отвернулся.

И тут он встретил тот взгляд.

Отработок не убежал. Прижал к себе черпак и смотрел на Тита снизу вверх — без страха и быстрого донного расчёта, под чью руку податься. Открыто, голо: так смотрят на того, кто пришёл и заслонил. Когда-то Тит сам так глядел не на человека — на тяжёлую казённую печать, единственную твердь среди гнили.

Мальчишка смотрел на него так, как сам Тит смотрел на печать.

Чёрное удовлетворение уже остывало, оставляя прежний недобор. А взгляд Тит не мог сосчитать. Снизу вверх обычно смотрели прося: возьми к себе, заступись, будь новым верхом. Он приготовился отказать. Под собой Тит никого не держал — кормить умел только страхом.

Но мальчишка не попросил.

Мальчишка шагнул и протянул рукоятью свой огромный казённый черпак — единственное, что было в руках. Тит не взял. Черпак повис между ними, протянутый и непринятый. Губы мальчишки шевельнулись; за шипением пара Тит не услышал, но прочёл: спасибо.

И вот этого Тит не знал, куда деть.

Тит не спросил имени: имя легло бы в строку, а строки не было. Не дал и сала из тряпья — кормят того, кого хотят вести за собой.

Он резко отвернулся и пошёл к холодному льду. Взгляд лёг на спину неприлаженным грузом. Сзади хрустнули два шага — мальчишка двинулся следом и остановился у короба. Тит не обернулся.

Трое позади поднимались, охая. Кривой размазывал по лицу кровь и соль и бросил вслед обычную угрозу тех, кто сам ничего не весит:

— Ты... ты знаешь, чьё это? Ты на кого руку поднял? Это казённое... за это с тебя спросят... это Перу принадлежит, дура ты безбумажная!

Тит понимал лучше кривого: Перо, Печать и спрос были его. Угроза не весила ничего. Весил взгляд на спине. В пустое будто налили малость тёплого; оно уже уходило, оставляя тёмный след, как вода в торфе.

У края варниц его окликнул чёрный от копоти истопник. Старик сидел на перевёрнутом ларе, ел ломоть и, видно, всё видел.

— Зря ты их. — Тит приостановился. Старик не глядел на него, глядел в лёд. — Не их это вина. Они тут такие же. Под ними врёт варничный, над варничным откупщик, над откупщиком Перо. С каждого спрос, и каждый сыплет вниз, потому что вверх не сыпанёшь. Ты вон тех троих побил, а малыцу-то завтра хуже будет. С него и за них спишут. — Старик откусил, пожевал. — Заступаться у нас некому. Заступишься раз — а уйдёшь, и за твоё заступленье он год расплатится.

Тит знал это на своей спине: ударишь по одному колену — строй сомкнётся, и нижнему станет хуже. Поэтому прежде не заступался. А теперь полез, сам не зная отчего.

Старик дожевал, обтёр чёрную руку о чёрное колено.

— Я раз не заступился. Здесь же брата сыпали, а я в трёх шагах подкидывал торф: от печи, мол, не отойти. К весне брат помер, недобор всё рос. С тех пор тридцать лет при этой печи. Боюсь отойти — увидишь. — Белые глаза поднялись с чёрного лица. — Ты отвернулся да пошёл. А я отвернулся да остался.

Тит молчал.

— Кто над варницей? — спросил Тит и сам удивился вопросу.

Старик пожевал.

— Откупщик. Его держит Герс-человек, аргванский. Герс Крин. — Старик откусил. — А тебе на что? Ты ступай. Ступай, пока не хватились. Тебя теперь сыщут — драного, что троих положил. Сыщут и спишут. У нас за это не на дни — насовсем.

Имя он услышал: Герс Крин. Его человек держит варницу, ниже врёт варничный, ниже сыплет кривой, в самом низу гнётся мальчишка. Над Герсом — только Имя. А Имя теперь носил Тит.

На борту црена под бурой накипью Тит нашёл клеймо Пера — то самое, что стояло на его печати и воротах Аргвана. Этим цреном варили соль, которую сыпали мальчишке; об этот борт Тит разбил лицо кривого. Через Герса, откупщика, варничного и надсмотрщика всё делалось его рукой. Палец остался в буре. Тит не вытер.

Он переварил это ниже слов, кивнул старику, чего отродясь не делал, и пошёл на лёд.

Лёд держал. Тит шёл к ночлежке за дохой и сапогами: глупо мёрзнуть, когда есть тёплое. Но в Хеммаре его ждали не только вещи — црены, горький пар и тонкий отработок, чей взгляд стронул что-то, вмёрзшее не третий день, а годы.

На полпути Тит впервые оглянулся. Хеммар дымил семью столбами; мальчишку за стеной пара не было видно. Завтра с него спишут и просыпанное, и побитых троих. Тит мог одним словом через Герса и варничного снять весь счёт, мог взять мальчишку наверх, мог сжечь варницу — у него было Перо. Но он стоял в чужих лохмотьях и не делал ничего. Для этого чувства слова не нашлось. Плечи свело, будто похолодало.

Он отвернулся и пошёл дальше.

Он шёл по льду серым никем. За спиной остывал горький пар, а в нём мальчишка глядел вслед тому, чем хотел бы стать.

Глава вторая. Ниса

Тит к варницам не вернулся: за его заступничество малыцу и так платить год. Он пошёл соляным берегом, ночуя где пустят, и на третий день вышел к морю. Сараи стояли на голой кости берега; отлив оставлял между ними и Студёным заливом чёрные плёсы.

Он шёл на дым. Другого дела у него не было.

Над дальним сараем тянулся жидкий сизый дымок. Где дым, там торф и тепло. В чужих лохмотьях холод проходил насквозь и садился на кость.

Намёрзшая соль ломалась под ногами и пускала в сапоги рассольную жижу. Левый, чужой и на размер больше, разошёлся по шву; нога онемела по щиколотку. За своей дохой Тит дошёл было до ночлежки, увидел в ней мужика с прокушенным ухом — и повернул. В дохе он снова стал бы человеком с весом. Пока ему хотелось остаться никем.

За береговым горбом показались три низких чёрных сарая. Дымило у третьего. Тит обошёл его стороной, как незнакомую прорубь.

Старик в овчине нёс к плёсам пустые бадьи. На Тита он глянул без любопытства и прошёл мимо, широко ставя ноги на наледи. Зачерпнул чёрной воды и тем же шагом понёс обратно. Здесь никто никого не звал и не сторожил. Каждый делал своё.

Здесь варили соль.

Рассол воротом качали из глуби и по жёлобам гнали в плоские чугунные црены. Под ними низко, без пламени, горел торф. Его горький дым Тит знал с плотов: им пахла его жизнь до печати — и, выходило, после.

Пар оседал на стропилах и капал обратно в црены. Серую соляную корку сгребали деревянными гребками, сушили на полках и ссыпали в рогожные кули. На каждом стояла казённая печать.

Печать означала счёт, а счёт — живого, с которого спишут недoves. Это устройство Тит узнавал без расспросов.

Девчонку он заметил не сразу.

У крайней сковороды стояли трое надсмотрщиков в бурых ватниках, с обугленными палками для торфа. Переговаривались лениво: тепло, сыто, есть над кем стоять. Слов Тит не слышал, но тон прочёл.

А под ними, на коленях в соляной слякоти, скребла руками просыпанную соль девчонка.

Соль смешалась с песком и грязью; девчонка выбирала белое из чёрного и складывала в кулёк. Отработок, лет шестнадцати, в одной холщовой рубахе. Разъеденные рассолом руки в белых трещинах не разгибались до конца.

— Уронила — собирай, — говорил старший.

Не зло — привычно, как Жмых говорил «недовес». Грузный старший опирался на палку, словно на трость, и смотрел не на девчонку, а на залив.

— Каждую крупцу собирай. Соль казённая. Не соберёшь — на тебя спишут.

Помолчал. Сплюнул в слякоть.

— Да куда тебе списывать-то, безбумажной. Тебя саму впору в кулёк да под печать.

Двое других коротко засмеялись. Рябой пнул кулёк; соль веером пошла по чёрной слякоти. Девчонка не подняла головы. Поползла за просыпанным и стала собирать заново.

— Ишь, прилежная, — сказал рябой. Сказал не девчонке. Старшему, через её голову. — Из таких толк бывает. Пока руки держат.

— Руки у неё до весны, — сказал старший. — К весне новую пригонят. Этих много.

Старший зевнул над словами «к весне новую пригонят» и снова отвернулся к заливу. Он не злобствовал — скучал. Девчонка была для него погодой: докучливой и скоро сменяемой. Эту сытую скуку Тит знал до косточки. Злоба хотя бы видит того, кого бьёт.

Она не плакала и не смотрела на них. Лицо держала пустым; только туго сведённые губы выдавали, чего ей это стоило. Последнее своё она прятала глубже, чем они умели достать.

Тит сам так стоял: глаза в землю, внутри ни страха, ни слёз, ни злости. В десяти шагах от них, серый в чужих лохмотьях, он тоже был пустым местом.

Холодная злость поднялась со дна, куда оседала с той зимы на плотках. Тит понимал этих троих: над ними тоже был счёт, страх и тот, кто спишет недoves. К вечеру они забудут девчонку, потому что её для них не было. От понимания злость только точилась.

У власти горла нет — за ворот не возьмёшь приказ или печать. Но эти трое были всего лишь людьми, вставшими у власти погреться. У них были горла и животы. Руки Тита знали, что с ними делать.

Он пошёл к ним. Сапоги хлюпали, лёд ломался. Ещё можно было свернуть — старая выучка дна уже разворачивала носок в сторону: не лезь, где не твой счёт. Тит снова увидел красные пальцы, выбиравшие белое из чёрного. Носок повернулся обратно. Он не решил идти — уже шёл. Потом разом, без замаха.

Дальше было быстро и буднично.

Тит не кричал и не грозил. Взял старшего за тёплый ворот у самого горла. Тот обернулся с ленивой усмешкой — и не донёс её. Светлые неподвижные глаза оборванца сбили усмешку прежде, чем кулак вошёл под дых.

Старший сложился. Палка упала в слякоть; сам он осел в ту же грязь, где скребла девчонка, и засипел. Горло у него всё-таки было.

Рябой кинулся сбоку. Тит ударил коленом туда, где тело перестаёт быть храбрым. Рябой без звука согнулся и сел.

Самый молодой замахнулся палкой и опустил: оборванец не отшатнулся, а пошёл на неё. Молодой попятился, сел на наледи и пополз спиной вперёд. Тит не погнался.

Старший сипел, держась за грудь. Рябой блевал жёлчью. Ни торжества, ни облегчения Тит не чувствовал.

Они были глотка, а у него — руки. Впервые за всю дорогу сила нашла, куда лечь.

Из второго сарая выглянул четвёртый. Через пар посмотрел на двоих в грязи, встретился глазами с Титом и сел обратно греть руки. Не его соль, не его недoves.

Тит обернулся за кульком и встретил её взгляд.

Вот тут всё и сбилось.

Она смотрела снизу вверх. В лице не было ожидаемого.

Ни страха, ни быстрого донного расчёта: что урвать, чем опасен, чем полезен. Серое, обмётанное солью лицо вдруг ожило. Глаза налились не слезами — светом. Так на Тита ещё не смотрели.

Так он сам когда-то смотрел на казённую печать — единственную силу, которая вдруг повернулась к нему лицом.

— Спаси тебя Перо, — сказала она тихо. Одними губами.

Так благодарили на дне. Слова ударили туда, куда кулак не достал бы.

Он не ответил. Он не знал, что на это отвечают.

Держась за край сковороды, девчонка поднялась и прижала кулёк к мокрой рубашке. Снова глянула так, будто он мог дать ещё что-то, хотя сам Тит не знал, что уже дал.

— Ты теперь иди, — сказал он наконец. Голос был сиплый, чужой, давно не звучавший. — Они оклемаются. Иди.

Она не двинулась. Стояла и смотрела.

— Куда мне, — сказала она. Просто, без жалобы. — Кулёк недобран. Спишут.

Тит глянул на белеющую в слякоти соль, присел и стал собирать. Рассол вошёл в дорожные трещины железом; пальцы отдёргивались сами, но он снова запускал их в грязь. Девчонка опустила рядом. Её руки были быстрее и знали работу; Тит поймал их ход. Две красные пары

выбирали белое из чёрного. Старший сипел в стороне. Под цренами горел торф, со стропил капал пар.

— Тебя как звать? — спросила она, не отрывая рук от соли, просто, как спрашивают который час.

Тит не сразу понял, что спрашивают его. Брикет остался на дне. Другое имя, под которым он сидел наверху, он бросил в Аргване, как краденое при погоне. Здесь оно не пошло бы с языка.

— Никак, — сказал он.

Она кивнула, будто ответ был полным. Без бумаги многие оставались без имени.

— А меня Ниса, — сказала она. И всё. Положила ещё крупцу в кулёк.

Имя осталось между ними. Тит не взвесил его, только услышал: Ниса. Шестнадцати лет. Руки до весны. Имя задело старую зарубку — но лицо к ней не пристало: соль и годы выели прежнюю девчонку.

Наполнив кулёк, она туго затянула бечёвку и подняла глаза.

— Спаси тебя Перо, — сказала она опять. Других слов у неё не было.

На дне всё имело цену. Дал — стал должен. Взял — задолжал. За добротой Тит искал ловушку, за остережением — наводку, за протянутой рукой — желание поставить ниже.

Ничего не было. Её руки не потянулись ни за рукавом, ни за обещанием — вернулись к соли. Свет достался ему, неузнанному, задаром. Тит держал его, как монету чужой чеканки, которую нигде не разменять.

Он отвернулся. Быстро, грубо, будто его толкнули в спину.

Он пошёл через чёрные плёсы в стылый ветер. Следом со дна поднялось давнее, чужое.

Телом, тем саднящим местом под рёбрами, он на миг оказался не собой.

Он оказался той, что когда-то совала ему, Брикету, на краю настила ломоть серого хлеба.

Имени старухи он не помнил, лицо стёрлось. Осталась рука: она положила хлеб рядом и отняла её, чтобы не давить и не делать его должным. Тит взял ломоть с презрением. Увидел подачку, ловушку, слабость — всё, чего там не было.

Тогда он стоял там, где сейчас стояла девчонка.

Теперь он стоял на месте старухи. Протянуть, не зная, возьмут ли; не смотреть, чтобы берущий не стал должным.

Связь Тит не довёл до мысли. Слишком крепко в нём стояло: доброта — слабость. Но камень под рёбрами повернулся и лёг обратно косо, ребром в старую ссадину.

Тяжесть под рёбрами он списал на голод. На ветер. На дорогу.

Он говорил себе, что идёт высмотреть казённую стоянку, соляной путь, проезд на полдень. Человек без дела — никто, а это на ногах не держало.

Старик с коромыслом возвращался с полными бадьями. На этот раз задержал взгляд на руках Тита — в соли и чёрной грязи, — потом перевёл его на сарай. Ничего не спросил, только посторонился и отвёл коромысло, чтобы не задеть. Тита пропустили не как пустое место и не как страшного, а как человека, сделавшего дело. В счёт это не ложилось и осталось при нём, как лишняя крупца на ладони.

За изломом берега сарай скрылись. Ветер с открытой воды бил в лицо; остались голая кость берега, чёрная вода и серое небо без шва.

На ветру Тит снова стал никем в чужих лохмотьях. Пальцы свело, в левый сапог вошла рассольная вода.

Пустота, гнавшая его от Аргвана, впервые отступила. У сарая было тепло, какого он не знал ни наверху, ни на дне: чужой свет, обращённый к нему. Выученное холоду тело потянулось обратно.

Там тепло. Здесь холод. Трое оклемаются и спишут на девчонку недовес, побои, его самого. Кулёк не спасёт.

Стыд старшего обернётся злобой, а сорвать её проще всего на безбумажной, ничьей.
Строка ложилась вниз, как соль. Ниже Нисы там никого не было.

Он стоял, пока пальцы не свело добела. Потом повернул к сараям. К дыму. К девчонке.
И, поворачивая, соврал себе, что идёт высмотреть стоянку.

Глава третья. Шныр на крыльце

В дальнем сарае, куда его пустили к торфяному жару, уход догнал его сном. Во сне всё было тем же и не тем — берегом, опрокинутым в чёрную воду. Затемно Тит спустился с верха. Печать лежала под левой полкой у бока; он привык к ней, как к больному зубу, который больше не болит, а просто мешает во рту. Не помнил уже, он носит её или она его. Ступени Чернильного Двора считал без воли: двенадцать до площадки, восемь до второй. Чужой прохудившийся сапог отзывался на каждой. Снизу, от земли, тянуло холодом.

У нижней двери спал стражник, привалившись к косяку. Не Жмых — тот при таких дверях не служил, сторожил то, что ещё чего-то стоило. У этого голое горло ходило во сне. Тит задержал взгляд. Горло было верным признаком низового: наверху его прятали цепь, ворот, привычка держать подбородок. Он прошёл мимо. Стражник не проснулся. Засов лежал в скобах; дверь оставили незапертой изнутри — так отпирают тому, кого выпускают.

Снаружи стояла чернота перед светом, когда мир ещё не сосчитан и кажется больше. Мороз драл небо солью и железом. Тит ступил на верхнюю доску крыльца и остановился. Счёт у него отняли; привычка считать осталась.

Шныр был на крыльце.

Он не окликнул. Шныр вообще редко подавал голос: пять его струн были не на языке, а в руках. Перед ним на досках лежали чужая заячья шапка, вытертая до кожи, и ворох драного, когда-то бывшего кожухом. Шныр поднял всё и протянул Титу обеими руками.

Тит взял прежде, чем успел отказаться. Шапка пахла чужим теменем и торфом; от этого запаха в нём на миг встал дом, которого никогда не было. Он надел её. Печать шевельнулась под полкой. Тит стянул с плеч остатки господского платья и накинул драный кожух. Тот сел как свой. Своего лучше у него отродясь не было.

— Семь вёрст по льду, — сказал Шныр. Голос у него был, как редкая струна, которую трогают раз в час. — К ночи метель.

Тит поднял глаза. Над заливом небо было вычищено морозом до последней синевы: ни сивого подбоя, ни жирного налива у края земли. Метелью не пахло. Лёд Тит читал вернее бумаги. Эта нота держит. Та подломится к полудню, когда солнце тронет наледь. Полынью у третьей вешки надо обойти низом. Семь вёрст — и засветло будет пройдено. Шныр лгал.

Тит услышал ложь небом, кожей, нижним счётом. Но не сказал: небо чистое, Шныр. Не выставил недовеса. Шныр был единственным, кто не спросил, куда он, зачем и что у него под полкой. Подал шапку, драный кожух — и ничего не взял. На Печать даже не покосился. Теперь между ними лежала метель: выдуманная, зато достаточная, чтобы уходить и не оглядываться. Так стелют солому под того, кому всё равно падать.

Он сошёл с крыльца, миновал спящего по другую сторону двери. Под сапогом хрустнула первая наледь берегового припая; небо отозвалось солью. Печать тянула бок. Перо тоже было при нём — не в руке, рукой его было не взять. На лёд он понёс тяжесть и то, что не весило ничего.

Лёд принял его. Тит пошёл ровно, читая ноты под чужим сапогом, и низом обошёл полынью у третьей вешки. Ни разу не оглянулся. Несуществующая метель гнала в спину.

Шныр остался на крыльце. Сел, поджав ноги, и смотрел в чернеющий к свету залив, где по белому уходила, уменьшаясь, тёмная строка. Он подал всё, до чего доставали руки. Дальше доставал только лёд.

Глава четвёртая. Прошение за прошением

Черновик она приносила ему уже не впервой.

Кавр Гелл сидел под газовым рожком, ронявшим на конторку сальный свет. Надломленное стальное перо ходило вдоль линейки: буквы вставали ровно, с казённым наклоном, по которому Двор узнавал своих. Комната над рукавом была устроена как лавка: полка с подшивками, банка с песком для присыпки, костяной нож для перьев — всё на виду, всё за деньги. Сам Кавр, невысокий и гладкий, тоже казался частью обстановки: человек, нашедший тёплое место в холодном городе и давно пригнавший себя к нему по мерке.

Черновик Мара написала с вечера на обороте старой накладной: чистая бумага дорога, а мысль и на обороте мысль. Кавр взял лист двумя пальцами, поднёс к свету. Губы шевелились — он не вчитывался, а прикидывал, можно ли с этого взять.

Не сказав ни слова, он домакнул перо, вывел на клочке число и пододвинул его через конторку.

— Это что? — спросила Мара.

— Плата, голуба. Чистая переписка, устав, присыпка, добрая бумага. В прошлый раз я тебе за грошик свёл на старой накладной — Двор и ту проглотил. А нынче ты хочешь, чтобы читали. Тут и бумага другая, и цена. Дешевле с плотов кричать — там даром.

Число было больше грошика ровно на ту сумму, которой у неё не было лишней. Мара развязала старый узелок в углу шали. Узел был стянут на два морока и не хотел уступать ногтям: завязывался он не на перепись. В нём копилось на тёплый платок дочери — той, что родилась и умерла в одну зиму, так и не войдя в бумажный счёт. Имя у неё было; Мара носила его, как камешек в башмаке: ступишь — вспомнишь. Платка теперь не на кого было повязать, а медь всё лежала. Она отсчитала монеты на конторку. Те легли тихо, одна к другой. Кавр смёл их в ящик ребром ладони, даже не пересчитав, и придвинул чистый лист.

— Вот теперь поговорим, — сказал он. За эти деньги он покупал себе право поучать.

— «Право невнесённого быть сочтённым живым», — прочёл он и скривился, будто надкусил кислое. — Красиво, голуба. Слишком. Свод любит коротко, скучно и чтобы печать легла без хлопот.

Стул Кавр не подвинул. Мара стояла, сложив руки у пояса, как стояла у всех чужих дверей, и смотрела, как её мысль облекается в казённый почерк. Из-под пера она выходила строже и будто дороже самой себя. Ровная буква могла пройти туда, куда не пропускали бабий голос с плотов.

— Ты перепиши, Кавр, — сказала она. — Толковать после будут другие.

— Толковать. — Он усмехнулся, не поднимая глаз. — Кто так говорит, уже думает, будто его станут читать. А тебя не станут. Знаешь почему?

Кавр переждал каплю на острие и бережно стряхнул её обратно в чернильницу.

— Сама ты родилась не по бумаге. Мать разрешилась на плотях, пошрины не внесла; строчку ты выправила себе поздним числом. Для Свода ты никто. Тень просит вписать другие тени.

Мара молчала. Кавр любил такие молчания: можно было набить их своим голосом.

— Надо было матери твоей вовремя бумаги справить, как люди справляют. — Он обмакнул перо. — А ты вон ходишь. С грошиком. За теньями.

Одна из тех теней имела лицо и вес. Мара помнила сгиб локтя, куда приходилась маленькая голова; помнила, как приходилось поддерживать спину ладонью и как тепло ушло из неё в ту зиму. Кавр говорил «тень», а она слышала это слово руками. Без строки, без пошрины, без места в книге — словно и не было. За это «не было» Мара и ходила: чтобы однажды жившее числилось бывшим, хотя бы в самом скучном из столбцов.

Эту песню Мара знала: всякий сам виноват, что родился не там и не так; перо протянули всем, а ты, дурень, не взял. В ней ладно сходились причина с карой и вина с бедностью. Гладкая песня, как голыш в рукаве; спорить с нею — только руки бить. Мара не спорила. Смотрела, как чёрная влага входит в бумагу, перестаёт блестеть и становится записью. На этом превращении она и держалась.

Внизу хлопнула дверь. По лестнице тяжело поднялся мужик в извозчицком кафтане, с обмёрзлой бородой, и с порога заговорил о тяжбе: сосед справил бумагу на межу, он не справил — и огородная полоса вышла соседовой.

— Обожди, — сказал ему Кавр, не оборачиваясь. — Видишь, при деле я. Сядь.

Мужик сел у двери, положил шапку на колено и стиснул её обеими руками. От мокрого кафтана пошёл пар и кислый дух шерсти. Кавр не отрывался от строки, но уже считал второго: бумага у соседа, тяжба у этого, нужда острая — заплатит и ещё вернётся. В той невидимой счётной книге, которую Кавр держал в голове, место находилось каждому. Народ к нему не переводился, пока Двор писал по-своему, а люди жили по-другому.

— Ты пиши, — сказала она. — Грошик-то взял.

— Взял. И перепишу честно: ремеслом я вполтину не торгую. — Он положил перо поперёк чернильницы. Пока писал, был при деле; теперь весь обратился к ней. Развернулся на табурете, упёр ладони в колени и посмотрел участливо, почти тепло — так смотрят, когда собираются обобрать без грубости. — Двор примет, лоток проглотит, квитанцию выдаст. Пойдёшь домой греться об неё, как об уголёк. А прошение ляжет под сукно. Молодой старший писарь прочтёт первую строку и припишет на поле два слова. Ими кончатся твой грошик, мой устав и всё хождение. Знаешь какие?

Мара молчала.

— «Без последствий», — сказал Кавр почти ласково, с нежностью мастера к удачной вещи. — Самые человеколюбивые слова Свода. «Отказать» — работа, спор, можно подать снова. А тут тебя кладут между «принято» и «нет», где тепло, тихо и ничего не делается. Там целый народ ждёт последствий. Никого не прогнали, никого не обидели — и ничего никому не должны.

— А ему ты что напишешь? — спросила Мара и кивнула на мужика у двери. — Ему «без последствий» или «отказать»?

Кавр посмотрел на мужика и прикинул его, как прикидывают на руке вес мешка.

— Напишу так, чтоб полоса осталась за тем, кто больше даст, — ответил Кавр, понизив голос. В его тихости не было ни стыда, ни хвастовства. — Сегодня платит он. Завтра сосед даст вдвое — напишу соседу. Я не судья, голуба, я перо. Пишу за той рукой, где медь. Ты это во мне не любишь. А я хотя бы знаю, что я перо. Двор — такое же, только мнит себя рукой.

Он снова взял перо. Газовый язык вздрагивал, тень рожка ходила по потолку. Под полом чёрная вода плескала в сваи, удерживая на себе и эту контору, и весь город. Мара знала её снизу, со своих плотов: по ледяному дыханию, по скрипу верёвок, по тому, как доска гуляет под ногой. Кавр знал воду из сухой комнаты над нею и потому не прислушивался.

И всё же переписал до последней закорючки. Ремеслом он гордился больше, чем совестью, и в работе делался почти честен: нечистая строка была бы плохой строкой, а плохой работы себе не позволял. Перо шло ровно; песок ложился на свежие буквы, потом ссыпался обратно в банку по листу, сложенному желобком. На середине Кавр остановился, разглядывая выведенное слово, и поднял глаза:

— Хорошее слово нашла: «пока не доказано обратное». По-ихнему завернула. Только бремя ты кладёшь на них, а они его не поднимут: скажут, доказывать нечего, потому что тебя нет. — Он почти с сожалением покачал головой. — Хороший ключ. Не к тому замку.

Закончив, Кавр поднял лист к рожку, проверил на просвет и остался доволен.

Лист высох. На нём стояло: Мара Верл, прошатница. Плотов и поздней строки, которой она выправила себе бытие, не было видно — только ровная просьба внести в Свод норму: невнесённый да будет сочтён живым, пока не доказано обратное. Мара приняла лист обеими руками.

— Иди, голуба, — сказал ей вслед Кавр, уже снова склоняясь к подшивкам, уже забыв её, как забывают вышедшего покупателя. — И квитанцию береги. Квитанция — она хоть бумага настоящая. С печатью.

Уже на пороге она услышала за спиной, как он повернулся к мужику, и голос его переменялся — стал шире, теплее, обнял мужика, как обнимают своего:

— Ну, хозяин, рассказывай про межу. Да не части. У нас с тобой всё сладится, у нас не как у других.

Мара притворила дверь под тот же голос, которым Кавр только что обволакивал её. Слова он менял; напев оставался один.

На улице стоял серый аргванский свет — другой здесь редко знали. Хрустел смёрзшийся сор, от засолочных рядов тянуло рассолом, из труб — торфяным дымом. Конка на тощей лошади провизжала колёсами на повороте; кондуктор бил в колокольчик, сгоняя людей с рельсов. Рассыльный с кожаной сумкой обогнал Мару и тут же затерялся впереди. Город спешил по делам, которые признавал делами. Её лист пока не значил ничего. Она берегла его от сырости под шалью и шла к Чернильному Двору, как по тонкому льду: осторожно, не проверяя лишний раз, держит ли.

У подъёма сидел в нише под образком старый прошатник Далм — свой, плотовый, не вельмарский писарь. Когда-то он ходил по тем же дворам, обстучал надежды о те же пороги; теперь доживал здесь и продавал за грош советы идущим наверх. Мара знала каждый из них, но пройти мимо не умела: всё равно что не поздороваться со своим отражением в чёрной воде.

— Несёшь? — спросил Далм. Он сидел на низкой скамеечке, укутав ноги в дерюгу, и держал руки под мышками, в тепле.

— Несу, — сказала она и показала лист краешком из-под шали.

Он посмотрел на краешек, на уставный почерк, и пожевал губами.

— К лотку или к трубе?

— К лотку. Это прошение.

— В трубу не суйся. Она для пошлин, для того, что уже числится. Заглотит и распишет прошение как платёж — концов не сыщешь. В лотке хоть короб, а в коробе человек рукой роется. Может, прочтёт. Рука живая, голуба. Труба только сосёт.

Мара кивнула. Слова старика легли присыпкой поверх уже принятого решения.

В нём виделась она сама через двадцать зим: дерюга на ногах, ниша, грош за надежду на живую руку. Далм три года ходил за братом, отписанным с воды в работный посёлок за недоимку, износил две пары подошв на этих ступенях. Пока прошения лежали, брата увезли дальше, и больше его никто не видел. Далму осталось знание, как именно ничего не выходит, — знание подробное, годное для продажи по грошу. Страшнее отказа была эта ниша: жизнь могла пройти, а отказа так и не случиться.

— И квитанции не молись. Она говорит не «да», а только «слышали». Весь Двор на том стоит, чтобы ты ушла, перепутав «слышали» со «сделаем».

Она дала грош — за то, что Далм был свой, и за возможную собственную нишу когда-нибудь. Точное знание утяжелило лист.

Двор стоял на Досмаре, сухом холме, куда вода не смела доходить. Мара поднималась из своего низа по выщербленным ступеням. Посередине камень был протёрт в ложбинку тысячами ног: кверху — с надеждой, вниз — налегке. Под каменной подворотней свежий чугунный люк ещё пах горячим железом и окалиной; тёплый литейный дух странно держался на морозе. Она переступила люк и вошла.

Пахло сургучом, мокрым сукном, сырым платьем и казённым холодом, идущим не от стен, а от порядка. Высокая палата пустовала поверху и была набита людьми у самого пола; весь её простор начинался выше человеческих голов и никому не доставался.

У входа служитель в суконном кафтане вписывал в книгу тех, кто подавал впервые и ещё не значился. Мимо него к лотку не пройти.

— Звание, — сказал служитель, не подняв головы.

— Прощатница.

— Не звание. Звания такого нет. — Он держал перо над книгой и ждал. — По какому делу.

— По своему. Прощение подать.

— За кого.

— За невнесённых, — сказала Мара.

Перо остановилось. Служитель устало посмотрел на неё, как на помеху.

— Невнесённых в книге нет. Кого нет, того во входящих не впишешь. — Он подумал. — Запишу: «Верл Мара, прощатница, дело без означенного лица». — Строка легла перед ней вверх ногами, уже наполовину похороненная последними тремя словами. — Проходи. К лотку.

Медный лоток темнел в стене: по краям его отполировали тысячи рук, до середины не доставал никто. Сверху пневматическая труба всхлипывала коротким сосущим вздохом и уносила капсулы в нутро Двора. Стук и шорох убегали по толще стен туда, куда просителю хода не было. Ниже ждала щель для бумаг потолще, с откидной медной губой. За ней угадывался невидимый короб — для Мары бездна с узким устьем.

Очередь стояла молча, привычно, как всё на дне. Наверху, на сухом, ждали так же, как внизу, на воде; ожидание равняло верх и низ. Старик впереди грел дыханием кулак с капсулой о пересмотре пени. За ним согнутая баба прижимала узел, будто там всё ещё был сын, отписанный в Хеммар. Человек неясного промысла держал свою капсулу двумя пальцами, словно она жгла: донос, подумала Мара, оплаченный скидкой с собственной строки. Но судить его не стала. Вся собралась в лист под шалью и в узкую надежду, что он пройдёт в щель и станет — есть.

Отойдя от окошка, старик с пеней не пошёл к выходу, а встал рядом с Марой. То ли квитанция не уняла тревоги, то ли её лицо располагало к жалобе — он заговорил вполголоса. Третий год нарастала пеня за невнесённую пошлину на перемер двора. В тот срок он лежал в горячке и не мог подняться. Теперь пеня стояла больше самого двора, и двор отходил казне. Хворь обошла ему домом.

— Я уж третий раз подаю, — говорил старик, грея кулак. — В первый раз ответили: «по череду». Во второй: «оставлено без движения». А сейчас, может, подвинется. Должно же когда-нибудь подвинуться. Я ведь не отказа прошу. Я прошу, чтоб поглядели.

— Должно, — сказала Мара, потому что иного сказать было нечего, а сказать было надо.

— А ты за кого?

— За тех, кого нет в книге.

Старик пожевал губами и решил, что не понял по старости.

— Это хлопотно, — сказал он с уважением. — Я-то есть, я в книге — а всё третий год. А за тех, кого нет... — Он снова подышал на кулак.

Очередь ползла. Из оконца под сводом падал косой серый свет; пыль в нём не поднималась и не оседала. Так же, верно, стояли где-то внутри прошения.

За стеной сидел старший писарь. Из окошка показывалась лишь молодая рука, в чернильных пятнах на сгибах, — принять капсулу, выдать квитанцию. Скрипело перо, сухо стучала печать, гася или венчая неизвестные Маре дела. Рука двигалась без спешки и злобы, давно приученная к одному делу, хотя сама ещё не успела состариться. Мара пыталась достроить по ней лицо: худое, полное, сонное — ни одно не удерживалось.

Труба всхлипнула и унесла старикову капсулу. Он постоял, глядя вверх, будто ещё мог дognать её взглядом, а квитанцию понёс на ладони, как полную ложку. Баба долго совала свёрток не туда; рука терпеливо показывала пальцем: в трубу, в трубу. Та наконец проглотила капсулу — и будто сына вместе с нею. Доносчик подал молча и ушёл быстро, не взяв квитанции, словно серый клочок мог выдать его сильнее лица.

Сбоку протиснулся молодой в городском пальто с чужого плеча. Минув очередь, сунул в окошко капсулу и плоский свёрток, назвал тихое слово — будто знал здесь свой ход и свою руку. Пальцы за стеной взяли капсулу, а свёрток выставили обратно с тем же терпением, с каким направляли бабу к трубе: не сюда, не ко мне. Молодой помедлил, спрятал свёрток за пазуху и отошёл злой, оглядываясь на свидетелей неудачи. Стена равняла всех не по доброте, а потому, что стучали не в человека — в щель.

Подошла её очередь.

Мара вынула лист из-под шали, бережно развернула — и поняла: в щель он не пройдёт, надо сложить. Складка переломит уставный почерк, над которым Кавр просидел вечер. Она поднесла лист боком к медной губе, поискала глазами другого хода. Иного не было: щель узка, бумага широка. Позади кто-то устало вздохнул — без злости, общей здешней усталостью: складывай, всем стоять. Сгиб лёг через слово «живым» — между «жи» и «вым». Под пальцами хрустнула бумага, а в ней отозвалось малое тело на руках: долго тёплое, потом холодное. Она тогда не клала его, потому что, пока держишь, оно ещё при тебе, ещё считается; положишь — и никто, кроме рук, не подтвердит, что было. Теперь сложила лист в том же месте, прижала ногтем складку. Несложенным не возьмут; сложенным, может быть, сочтут.

Рука в окошке протянулась.

— В трубу или в лоток? — спросил голос за стеной, ровный, нестарый, ничей.

— В лоток, — сказала Мара. — Это прошение. О внесении.

— О внесении чего?

— Нормы, — сказала она; слово тонко прозвучало в её плотовом рту. — Чтоб того, кого в книгах нет, считали живым. Пока не доказано, что мёртв.

За стеной смолкло перо. Протянутая рука замерла, пальцы чуть подобрались. На один миг из привычного дела выглянул человек. Сердце Мары толкнулось к щели.

— Невнесённого в книгах нет, — сказал голос наконец. Не зло — терпеливо, как объясняют ребёнку или дважды глухому. — Чего нет, того нельзя счесть. Ни живым, ни мёртвым. Подавайте, рассмотрят по череду.

И рука приняла лист.

Её пальцы не хотели разжиматься. Мара заставила их, пустила лист в щель. Медная губа дрогнула; лист ушёл в невидимый короб. Ни шороха, ни звука падения.

За стеной перо сделало два хода, сухо стукнула печать — ни добра, ни злобы, одна работа. В окошке появился серый клочок с оттиском и числом: по нему можно будет спросить о судьбе прошения, если придут срок и охота отвечать. Мара повторила число про себя, затвердила его. Это была единственная нить к невидимому коробу, и за неё ещё предстояло тянуть. Квитанция была тёплой от руки писаря. Отходя, Мара грела об неё пальцы, ловила себя на этом и стыдилась украденного тепла.

Мара задержалась. Баба с узлом подала вторую капсулу и спросила: «А сыну-то моему дойдёт?» — «Рассмотрят по череду», — ответил тот же ничей голос, не запнувшись. Мара унесла свою короткую заминку как нечто драгоценное — слишком легко своим назначить большую цену.

За подворотней лежал её город: плоты, туман на рукавах, дальние слободы на чёрной ладони воды. Под ногами остывал новый чугунный люк. Прощение осталось в тёплой тьме между «принято» и «нет», рядом со стариковой пеней и бабим сыном. Мара знала про молодую руку, про первую строку, дальше которой могут не прочесть, про два слова на поле, про

сукно, под которым тихо и ничего. Знание не отменяло того мгновения, когда рука остановилась.

На ветру медлили те, кто уже отстоял своё, будто не решались переступить обратно из Двора в город. Баба с узлом держала его так, будто там всё ещё был сын; пуст ли узел, полный ли — не разобрать. Мара встала рядом — не утешать словом, таких слов у неё не было, просто вдвоём холод держать легче. Они постояли, глядя вниз на туман. Потом баба сказала:

— Тёплая. — И показала квитанцию. — Тёплую дали.

— Тёплую, — отозвалась Мара.

Они грели пальцы о клочки. Грех — а иного тепла на ветру не было.

Мара спрятала квитанцию к сердцу — помнить — и пошла вниз, к воде. Ступени отдавали холодом сквозь подошву. Она считала их, зная: придётся считать обратно вверх.

Глава пятая. Лист в коробе

Мара ушла. Дверь за нею хлопнула, как за всеми. Лист остался и лёг в короб.

Молодого старшего писаря звали Салмом, но здесь носили не имя, а руку. Его рука была в чернильных пятнах от костяшек до запястья — щёлок не брал. Салм принял лист, как двести других с утра, не глядя. Читать позволялось только верхнюю строку: чьё, откуда, по какому уложению, возвращена ли пошлина. Тело прошения предназначалось тем, кто сверху. У Салма было горло, и он его берёт.

Он положил лист по складке, чтобы лёг в короб ребром, как все.

И тут глаз его споткнулся.

Глаз сам пошёл ниже дозволенного и встал на слове. Почерк был уставный, поклонный; Салм узнал руку Гелла, умевшего за плату выгнуть сытую петлю над голодной строкой. До складки письмо шло ровно. На складке ломалось.

«Живым».

Слово пришлось на сгиб. Чернила треснули поперёк волосяной щелью, и «живым» стало нецелым. Так лёд под пяткой даёт тонкую ноту, после которой опытный дальше не ступит.

Салм услышал эту ноту нёбом.

До Двора Салм год выгребал соль из рассольного црена. Варничное нёбо осталось при нём и теперь мерило треснувшее слово, как мерило недовес. В строке была убыль, которой не значилось ни в одной ведомости.

«О праве невнесённого быть сочтённым живым, пока не доказано обратное».

Он прочёл всё прошение, донизу.

И задержался.

Со стороны задержки никто бы не заметил: Салм сидел по-прежнему, лист держал ребром. Но слово на сгибе тронуло его под лопатку. Невнесённый. Его дед родился в разлив, когда писари не доехали до слободы, и прожил весь век между «есть» и «нет». В книге деда не было; в Салме был. Спина вспомнила об этом раньше головы.

Он держал лист и не клал.

И сверху пришло.

Сверху приходило тенью. Над палатой шла галерейка, по ней ходил Крин; его тень ложилась на стол, короб и руку, заменяя приказ. Теперь она легла на Марин лист: клади. Не рви, не вымарывай — Двор хранит бумагу. Положи в короб «промежду», стоящий между «принято» и «отказано». В Своде лист будет значиться поданным, но срок истечёт, и прошение погаснет без отказа. Руки наверху останутся чисты.

Салм клал в этот короб с весны.

Тень ждала, как лёд под пяткой.

Он положил.

Выученная рука понесла лист к «промежду». Тень тронулась дальше по галерейке, к следующему столу. Салм выдохнул.

Когда лист уже ложился на сотни других, спящих в «промежду», Салм ещё раз взглянул на дозволенную верхнюю строку. На номер.

Восьмизначный казённый номер квитанции — единственное, по чему числились лист и подавшая его женщина. Обычный номер. Салм прочёл и не отпустил.

Лист он положил, как велели. Номер не отдал. Тот остался на нёбе рядом с солью, среди вещей, которым Салм счёта не вёл.

Зачем, Салм не знал. Запомнить ничего не стоило. Лист лежал где положено, и Двору не к чему было придраться. А про унесённый номер Свод не знал. В молодой руке, чёрной от чернил до запястья, осталась засечка.

Малая, как трещина поперёк слова «живым».

Салм задвинул короб к стене, под Криноу галерейку, и принялся за дозволенную строку следующего листа. Нёбо саднило солью. За стеной ждал другой проситель, и Гелл уже выгибал ему сытую петлю за плату.

Номер сидел в Салме и был тяжелее короба.

Глава шестая. Доимка перед ледоставом

Мороз пришёл раньше срока. По нему Дарн и понял: времени осталось меньше, чем он считал.

Он отводил себе неделю — до ночи, когда лужи у варниц возьмутся коркой. Но утром вода у бревенчатого настила уже стояла под белой плёнкой. Дарн наступил — хрустнуло. Так всегда: считаешь на неделю — дают три дня; считаешь на три — один.

Ирма ещё не встала, но по чёрной воде уже шло первое сало. Каша льдинок собиралась в полосы, к ночи смерзалась у свай; сухой шорох не умолкал, будто где-то листали толстую книгу. До ледостава доимка торопилась выгрести с Хеммара долги, пени, приносы, недоимку за позапрошлый разлив. Потом река отрежет дальний край от Аргвана на зиму. Перед самым льдом обоз шёл по слободам, как вода: искал низину, где нечем заслониться.

Ветер обирал рыжую лиственницу над Дарном. Хвоя сыпалась на плечи, пахла смолой и стылью. Завтра по серой дороге с замёрзшими колеями пойдёт обоз.

Третий день он мерил берег телом. От поворота до настила — двести с лишним шагов. Сколько телега пройдёт по льдыстым доскам, если погонят лошадей; сколько останется света. Бумаге Дарн не верил и бумаги не имел. Бумага лжёт, нога — нет.

Накануне он прошёл настил туда и обратно. Старые доски скользили, по краям лежала наледь; одна, посередине, ходила под ногой. Дарн запомнил её, как слабую льдину: не наступать. Слева — чёрная вода с салом, справа — тёплая рассольная канава, между ними две доски в ширину. Здесь обоз пойдёт по одному. Здесь его и держать. Вчера это было верно.

В отрочестве Дарна обожгло торфом у сушилен: пласт просел, жар лёг на щёку. Стянутая рубцом половина лица с тех пор не чувствовала холода. Другая чувствовала за обе — живая и злая. Ею он и думал.

У настила дорога сужалась: телегам не разойтись. Там Дарн и задумал взять обоз. Не убить — взять. Разбойник убивает за мошну. Дарн шёл за пером.

В передней повозке ехали реестр и кожаный чехол с печатью. Реестр Дарн сожжёт над водой, чтобы строки с чужими жизнями ушли пеплом под лёд. Что делать с печатью, ещё не решил. Но силу нельзя оставлять в чужой руке.

— Завтра к полудню будут у настила, — сказал он тихо, не оборачиваясь, тому, кто стоял позади. — Сало им мешает, идут медленно, держатся берега. К настилу подойдут, когда солнце сядет за варницы.

Позади молчали четверо его людей, все из заёмных. Чужая строка досталась им от отцов, тем — от их отцов; кто первым занял и на что, спросить было не у кого. Дарн их не звал. Сами пришли к человеку, который не просит, а берёт. В этом была вся разница между ним и той, оставшейся в Аргване с бумагами.

Накануне он провёл пробу. Двоих поставил за сваями — резать путь назад. Одного — у выхода. Себя — на слабую доску. Молодой с заячьей губой должен был первым схватить переднюю лошадь; кинулся, поскользнулся и сел на лёд. Дарн не ругал. Велел держать у самой морды, за оголовье, не тянуть повод. Потом прошёл вдоль остальных, каждого тронул за плечо, проверяя стойку. Озябли, но стояли твёрдо. Он распустил их по землянкам, а сам слушал на настиле, как сало трётся о сваи.

Завтра по этой пробе всё и пойдёт, думал он утром. Да только сегодня пришёл старик — и проба пригодилась лишь наполовину.

При мысли о ней — о другой, об оставшейся в Аргване — живая щека дёрнулась.

Мара Верл. Прошатница. Постепеновка. Носит воду решетом — прошение за прошением — и верит, что дно защитит строка, написанная их пером. Дарн злился на неё сильнее, чем на породу. Волка он понимал: ест по нутру. А Мара совала волку лапу и обещала приучить

брать ласково. Пока должник пишет прошение, он не берёт топора. Поводок надевает сам и ещё кланяется в окошко за бумагу.

Неделю назад на торгу у Хеммарской пристани она раздавала слободским образцы прошений. Заметив Дарна, договорила человеку до конца и лишь потом повернулась.

— Опять ты, — сказала она. Не зло. Устало.

— Опять я, — сказал он. — Учишь их кланяться.

— Учю не помереть до весны. — Она прижимала листы к груди чёрными, выеденными чернилами пальцами — как у солёвара руки выедены солью. — Иным по прошению скостили. Мало, но скостили. А по твоему кому что?

— По моему ещё не считано.

— Вот и считай, — сказала она. — Потом сочтёшь. Над теми, кого положишь.

Он хотел сказать: возьмём перо — считать будем мы. Но под её спокойным взглядом слова показались жидкими, как разбавленные чернила. Дарн ушёл, не сказав, и неделю злился на это молчание. Потому сегодня настил бесил его ещё сильнее.

— Возьмём перо — и не нужно будет ваших прошений, — сказал он вслух, хоть никто не спрашивал. — Своё напишем. По-своему.

Один из людей, молодой, с заячьей губой, переступил с ноги на ногу. Снег под его сапогом скрипнул.

— А не сожгут нас потом тем же пером, Дарн?

Дарн повернулся. Молодой стоял, втянув голову в плечи, и смотрел в сторону, на сало.

— Кто перо держит, тот и пишет, — сказал Дарн. — Будем держать мы — будем писать мы. Просто.

Ему и вправду было просто: есть те, у кого перо, и те, на ком пишут. Отнять у первых, отдать вторым. Он видел, как реестр горит над чёрной водой, строки корёжятся, лист сворачивается, пепел уходит под лёд. Живая половина сердца толкнулась горячо и чисто.

Мысль родилась давно, у сушилён: можно не терпеть — можно взять. Как первый вдох после долгого нырка под плотами, когда лёгкие рвёт, а потом находишь прореху между брёвнами. Этим вдохом Дарн и жил.

От слободы тянуло дымом и солью. Варницы топили день и ночь: соль становилась деньгами, деньги уходили доимке, доимка кормила перо. Круг замыкался наверху, в Досмаре, у того, чьего имени здесь не называли.

От слободы подошёл чужой старик, припадая на ногу и не таясь. Его лицо выбелила соль, будто он годами стоял над цреном в пару; вылиняли брови, побелели губы.

— Слышишь, — сказал старик. Остановился в трёх шагах, отдышался. — Ты, говорят, обоз брать собираешься.

Дарн молчал: иди, откуда пришёл. Лишние уже знали о деле.

Старик молчания не послушал.

— Бери, — сказал он. — Бери, родимый. Доброе дело. Только моего парнишку не зашиби. Он там, в обозе.

Дарн повернул к нему живую щёку.

— В каком обозе?

— В доимковом. В том, что брать собираешься. — Старик пожевал белыми губами. — Подрядился возчиком на осень, за полстроки скидки. Свои сюда под ледостав не едут — берут здешних, заёмных. Мой лошадей ведёт.

— При лошадях, — сказал старик. — Не доимщик он. При лошадях.

Дарн держал лицо ровно, как доску под ногой. Полжизни им оборонялся: одна щека не чувствует, другая не выдаёт; вместе — стена, в которую можно говорить до ночи. Он выстаивал так всех, кто хватал его за рукав и просил заступиться, рассудить, пощадить.

— При лошадях, — повторил он за стариком.

— При лошадях, родимый. Их там трое наших. Доимщик один, в передней повозке, с бумагами и печатью. Остальные хеммарские: кто за скидку нанялся, кто за один прокорм. Зима на носу. Сам знаешь, каково у нас с прокормом.

— Знаю, — сказал Дарн.

— Нирт. Семнадцатая зима ему. Мать померла на той соли, над цреном. А он пошёл к лошадям. Я не пускал. «За полстроки же, отец». — Старик поднял белые глаза без бровей. — Вот за что он туда сел. Полстроки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.